

Цви Айзенман (25.10.1926 - 27.01.2011)

Записано и переведено с иврита 06.03.10 S. G. с видеокассеты (от 06.08.1996)

Меня зовут Цви (Иона) Айзенман. Я родился 25 октября 1926 года в маленьком местечке Броди, что в 6 км от города Стараховице (Польша).

Там жило очень много евреев в то время. В 2 км от нас жили мои бабушка и дедушка, их звали Ривка и Авраам. Мою маму звали Наха, а отца — Барух. У меня была старшая сестра — Райзель, старший брат Ицхак и Натан — он был младше меня.

Жизнь наша была хорошая.

Отец занимался производством масла, у него был небольшой завод и стоял пресс. Материально мы не нуждались. Семья наша была религиозная, мы соблюдали еврейские традиции. Всё было хорошо до 1935 года, пока после тяжёлой болезни не умерла моя мать. Мне было всего 9 лет, и моя жизнь резко изменилась. По утрам, с 6 лет, я ходил в начальную школу, в классе учились все вместе — евреи и поляки. В моём классе кроме меня были ещё 2 еврейских парня, и одна девочка. Довольно часто у нас были стычки с польскими детьми, я помню почти каждый день после уроков они стояли с двух сторон у выхода из класса и лупили нас портфелями. Ещё я ходил защищать своего младшего брата Натана, он был младше на 2 года. Я помню до сих пор, как подрался с одним парнем так, что у него пошла кровь из носа и из ушей. Это было неприятно, но без этого нельзя было обойтись. После обеда вечером мы ходили в еврейскую школу и учили традиции. По субботам мне надевали праздничную одежду, и мы молились 3 раза в день. Кроме того, в течение года после смерти мамы каждый день я читал «кадиш» за упокой её души. Это потом, когда пришли нацисты, мы завидовали ей, что она успела умереть своей смертью, дома, да ещё в своей постели.

**карта родных мест Цви Айзенмана - местечко Броди, рядом с городом Стараховице. (S. G.)*

После смерти мамы старшая сестра взяла на себя заботу о нас.

Нас было четверо детей, и отец, было много работы по хозяйству. Мы делали хлеб на всю неделю, мацу, пирожки и, так как дом наш соблюдал религиозные традиции, в субботу огонь не зажигался. Мы если холодный суп, и до сих пор я так привык с детства, что не грею суп и ем его холодным. Папа был «хасид Бельц», по

праздникам он ездил к ребе — короче, мы все праздники молились. Родственники хотели, чтобы отец женился на сестре мамы, но он не захотел, и так всё оставалось до самой войны. Я после школы ходил с друзьями в лес играть, у нас была смешанная компания — евреи, поляки, и если наши игры не нарушали еврейских законов, папа мне разрешал.

Кстати, я навещал эти края в начале 90-х годов.

Там всё осталось по-прежнему, как и было. Я нашёл наш дом, свою школу, и даже мой стул, на котором я сидел, стоит на том же самом месте.

В нашем доме сейчас живёт поляк. Сначала он испугался, (жена стукнула его по руке, чтобы он молчал). Он боялся, что я буду что-то требовать. Но когда я сказал, что мне ничего от него не нужно, он успокоился и разговорился. Он даже знал идиш, мы на нём немного с ним говорили.

Школу закончить я не успел. Когда началась война 1 сентября 1939 года, уже на третий день после её начала к нам вошли немцы. Никто из взрослых даже не представлял, что будет. Хотя к нам подселились беженцы, они начали рассказывать нам о надвигающемся уничтожении евреев, но никто не верил. Мы думали, что немцам просто были нужны рабочие места, никто не представлял тогда масштабов будущей трагедии. Папа сказал: «Всё это было там, у них. У нас такого быть не может».

Начался «немецкий порядок».

Евреям запретили выходить за границу местечка, а за порядком следили поляки. Но ходить к дедушке и бабушке в другую деревню всё равно было надо, и мы продолжали. Поляки нас пропускали. Пока в один из дней моего старшего брата Ицхака не остановили не поляки, а СС. Его забрали в тюрьму, и с тех пор больше мы его не видели. Он пропал. Ему было тогда 17 лет. Хотя я точно знаю, что какое-то время он сидел в тюрьме, получал наши передачи и письма, которые мы передавали через польскую полицию. Мы даже надеялись на то, что скоро будет суд, и его освободят.

Но не получилось.

Какое-то время отец продолжал работать и делать масло. Но вскоре, в начале 1940 года, мы разобрали машины и спрятали их. Польская полиция нас предупредила, что скоро будет эвакуация всех евреев, и кто останется — тот обязательно погибнет, и что надо уходить ближайшей ночью. И этой же ночью папа, моя старшая сестра, и мы с младшим братом уехали в Везник. Там жили два брата мамы, и мы собирались жить у них. Но не пришлось. Рано утром по громкоговорителям объявили, что все евреи обязаны собраться на рыночной

площади, мы взяли вещи и пошли со всеми. Заодно мы искали своих, из нашего местечка Броди. Встретили несколько соседей и знакомых. И они рассказали, что всех, кто не убежал ночью и остался (в основном старики и дети) — все были убиты. Там, на рыночной площади, куда нас привели, я видел несколько страшных вещей — я видел, как эсэсовец размозжил младенцу голову об стену.

К вечеру повели куда-то, в окружении эсэсовцев с собаками. Мы пришли в лагерь Штельнице, где всё уже было готово, в бараках стояли двухэтажные кровати. Женщин отделили от мужчин и поселили отдельно. Мне было тогда немного лет, и оказаться вдруг в бараке вместо родительского дома было большой травмой.

Мы попали в рабочий лагерь. Сначала была страшная суматоха и неразбериха. Только потом мы поняли, в чём дело. Этот район, куда нас пригнали, был большой промышленной зоной. Там находились самые большие заводы Польши. На одном из них нам предстояло работать. Там делали все — от ружейного патрона до авиационной бомбы, самой большой. Немцы называли этот завод «Герман Геринг цвейке». Каждый день нас гнали из лагеря на работу. Мы вставали очень рано, а кормили уже на заводе. Сначала было построение на плацу, нас пересчитывали. Если кого-то не доставало на проверках (а немцы знали, что многие попытаются убежать), то нам приказывали рассчитаться «на первый-пятый» и каждого пятого тут же расстреливали на месте, у стенки. Поэтому убежать из лагеря перестали. Я тоже мог убежать, ведь я знал как свои пять пальцев эту местность. Это было недалеко от дома.

Это был тяжёлый лагерь и тяжёлая работа. Папа — а он всегда был «шлемазл» (*идиш* — *неудачник*) — попадал на самые тяжёлые работы. При производстве снарядов сначала надо разрубить толстые штанги из стали на примерно одинаковые куски, по размеру снаряда. Этим он и занимался. Сестра работала на проверке качества будущих боеприпасов. Порохом заполняли боеприпасы в другом месте, не у нас. Сейчас этот завод выпускает автомашины. Жили мы тяжело. Мыться приходилось холодной водой, без мыла. У всех были вши. И начался тиф, заболел и я, а это было самое страшное. Сначала я не хотел идти в тифозный барак, но когда температура была уже очень высокой, мне ничего не оставалось делать и пойти туда. И вот, когда барак переполнился, и не было уже там места, пришёл начальник лагеря — украинец Дильчик. Он надел белые перчатки и приказал всем, кто может выйти из барака на своих ногах — выходить. Каждому, кто вышел, он пустил пулю в голову. Образовалась целая куча тел. Я в это время лежал наверху, на второй полке, в этом тифозном изоляторе. Я слышу приказ выходить и слышу выстрелы и думаю: «Что делать? Идти или не идти? Если пойду, то точно получу пулю в лоб».

И я не пошёл. Я выдавил небольшое оконце рядом со мной и выполз через окно прямо на снег. Кругом были прожекторы, темно. Я улучил момент и сумел перебраться через проволоку и проскочил в общий барак. А папа с сестрой в это время как раз искали меня в куче трупов в тифозном бараке и не нашли. Конечно, когда они вернулись и увидели меня, тут радость была большая! А на следующее утро у меня прошёл тиф. Я встал, как ни в чём ни бывало, даже не знаю, была ли у меня ещё температура или нет, и пошёл на работу со всеми.

Летом 1940 года нас перевели в другой лагерь, Маевке, в 15 км от завода. На работу мы ходили по-прежнему на старое место, на завод, но этот лагерь был лучше. Мы работали там с 1940 до июня — июля 1944 года. На работу мы приходили к 7 утра, но дорога туда занимала примерно около часа ходьбы. на заводе мы получали тарелку супа, а вечером, в лагере, кусок хлеба и что-то наподобие кофе, не знаю, из чего. Я был там с папой и братом, а сестра была за забором, в женской половине лагеря. Так получилось, что я был в семье главный. Я добывал для них ещё еду — ходил на кухню, где готовили пищу для всего завода, и там подворовывал. Иногда гнилую картошку, иногда очистки, а один раз я спёр даже целый термос еды! Если бы меня поймали нацисты, они бы убили меня. Поляки, которые работали с нами (они были не из нашего лагеря), давали мне иногда хлеб или одежду. Один раз правда немцы поймали меня с какими-то штанами, которые я достал. Я получил тогда такие 40 ударов по жопе, что месяцами потом не мог ходить. Но это меня не останавливало.

Два раза я удирал из строя в лес, и бежал к нашему дому. А там я доставал и приносил в лагерь какие-то вещи. Один раз даже отец это сделал. В этом лагере не было таких строгих порядков. Это происходило уже летом 1944 года. Лагерь находился рядом с лесом, и один раз кто-то из наших связался с партизанами. Собрали для них какие-то деньги и драгоценности, что у кого оставалось, и за это они должны были взорвать забор и помочь нам убежать. В назначенный час мы были готовы к побегу, начали крутиться возле этого забора. Но, то ли немцы что-то пронюхали, то ли партизаны им сказали — я не знаю. Они не пришли и немцы открыли по нам стрельбу и положили много людей. В наказание, да и что бы мы не сбежали, у нас забрали обувь. И мы долго потом ходили босые.

Работали мы с утра и до 4-5 часов вечера, а потом возвращались в лагерь. На территории можно было разговаривать, переходить из барака в барак.

Кто умел — тот молился, но утром у нас на это не было времени. Я не помню, чтобы мой папа, который соблюдал все традиции до войны, молился. Праздники? Мы не знали, что это. Мы жили, как на Луне. Йом кипур? Рош хашана? Я не помню никаких праздников. Все были озабочены тем, чтобы достать ложку супа (как будто это был суп) или лишний кусок хлеба. Однажды утром, после истории с

партизанами, немцы подогнали вагоны и всех забрали. Никого не оставили. Нас было может быть 1500 человек, а может быть 2000. Я не знаю точно. Мы не знали, что происходит в мире, никаких новостей до нас не доходило. Так мы попали в лагерь Биркенау. Один вагон нашего эшелона вёз всю еврейскую администрацию лагеря. Немцы наглухо закрыли этот вагон, не давая им ни еды, ни воды, ни воздуха. Когда мы приехали на место, они были все уже полумёртвые. Ехали мы несколько дней. Высадили нас утром, всех. Я был тогда ещё с папой, братом и сестрой, но конечно, в разных вагонах. Приехали и видим, что все тут ходят в полосатых пижамах! Курорт, — подумали мы! Появился д-р Менгеле и началась селекция. «Направо — налево!» Мы не знали, что это значит. Приказано было собрать всю одежду и собираться в душевых кабинах; а свою одежду оставить на дезинфекцию. Нас постригли наголо, и после душевых всем раздали полосатую одежду. С другой стороны душа я встретил свою сестру, но не узнал её без волос. Потом нам ставили номера на руку. Этот номер — это было моё имя, когда с кем-то разговариваешь, надо было его называть. Свой номер я помню на немецком: «*Ахцин зекстран зекцих*»! Но не у всех он есть. Например, у моей жены его нет, хотя она тоже была там и её привезли почти в то же самое время. Тот же номер был также на правой стороне рубахи и слева тут, на рукаве. Помимо номера были ещё всякие специальные знаки, например, у евреев были красные треугольники. А у немцев, которые сидели в этом лагере с 1933 года, были совсем другие знаки — чёрные. По номерам было всё понятно, в каком году и откуда ты появился. Например, буква «А» (Альперов) означала Венгрию, а «В» — Польшу.

Не знаю, почему по ошибке нам всем поставили букву «А». У брата номер был меньше (61), а у отца на 2 больше, чем мой, 65. Так мы просто в очереди стояли, не рядом.

Понемногу мы поняли, куда попали. Мы прибыли в тот же день, когда уничтожили бараки с цыганами. А мы должны были занять их место. Цыганский барак был как раз напротив. Я видел сначала оцепление, а потом поехали машины, ездили долго, долго, туда и обратно.

Раздавались крики и плач детей. Потом, через несколько часов, всё стихло.

Наутро мы увидели дымящиеся печи, а нас запустили в их бараки, убирать; а потом мы в них и остались, в этих бараках.

Никто не знал, что будет дальше. В лагере. Биркенау мы провели месяц — полтора. Мы ничего не делали, слонялись по лагерю, он был гигантский, 40 кв. км., и был разделён внутренними заборами, но они не были под электричеством. Там были голландцы, цыгане, и все, все. Мы ходили и искали своих родственников, спрашивали у людей из других лагерей — может быть кто-то видел.

Периодически приезжали «покупатели» рабочей силы для своих предприятий. Они забирали нужных им — плотников, столяров. Я назвался столяром и сказал отцу, а брат прозевал и остался. Так мы с отцом оказались в лагере Буна, это где-то около 40 км. от Биркенау. Перегоняли нас пешком, группами, человек по 30 — 40. Это был лагерь посимпатичнее, всего-то на 20 — 30 тыс. человек, не больше. Я почему-то запомнил даже номера блоков. Я находился в блоке 28, как бы в детском, а папа — в 52-м.

Из нового лагеря каждое утро мы ходили 15 км на работы. Там надо было соорудить какие-то огромные канализационные трубы. Мы копали большие котлованы среди чистого поля, нагружали вагонетки, и вставляли в землю трубы огромного диаметра. Я даже не знаю, зачем. И не знаю, где это было — просто посреди поля. Это была рабская работа. Мы были вместе с отцом на этих работах, но меня поставили делать кофе охранникам и отвечать за инструмент, мне было легче. Я, как мог, заботился и об отце. На дворе стоял август 1944, но что происходит в мире мы не знали, мы видели только дымящиеся печи. Однажды вечером в бараке ко мне подошёл дежурный и сказал: «Завтра ты на работы не идёшь».

Я не знал, что и думать.

Пошёл в барак к отцу и сказал ему, чтобы он меня не искал наутро, на плацу. Кстати, знаешь как мы ходили на работу каждый день? Под музыку! Стоял большой духовой оркестр! Мы стояли и ждали команды на немецком: «*Хенде анлейген!*» (руки по швам!) «*Шнойце леформе!*» (нос вперёд!) Так мы проходили ворота лагеря!

Итак, я сказал отцу, чтобы утром он меня не ждал. «Не знаю, куда меня ведут, но ты меня не ищи», — сказал я.

И вот утром я смотрю, что все уходят, но не только я, ещё несколько подростков остались в бараке! Пришёл немец, построил нас, мы рассчитались на «1 — 3», он показал на меня и на ещё двух пальцем, дал нам какое-то письмо и сказал идти в блок «В», там находилась медчасть. Мы сдали анализы, нам выдали белые одежды и направили нас работать в офицерскую столовую, официантами, подавать еду эсэсовцам!

Ты представляешь, что это было? *Это была — Америка!*

Меня и ещё двух ребят перевели жить в специальный блок номер 4, там жил весь персонал, обслуживающий СС. Портные, сапожники. У нас была вторая порция еды, и простыни. Я мог выходить за пределы лагеря, потому как склад находился снаружи. Можно было только сказать номер и выходить. Еды было столько, что я не мог один съесть. Конечно, я давал отцу. У меня появились там связи. Однажды

я узнал, что отца посадили в карцер (нашли у него какой-то кусок тряпки, на портянки). Ясно, что кто попадает в карцер, то обратной дороги для него нет. И мои связи с «эсэсниками» помогли, мне удалось его вытащить из карцера живым. Так он спасся от смерти снова. Также я смог перевести младшего брата, Натана, из Биркенау к нам, в лагерь Буна. А еды у меня хватало на всех.

Так продолжалось до января 1945 года. С этой работы официантом меня, как и всех нас, забрали в Глайвиц. Это примерно 40 км от Буна. Я заранее припрятал еду на дорогу. Мы знали, что придёт день и нас заберут, потому что русский фронт приближался. Хотя, например, рядом находился лагерь английских военнопленных, которых оставили. Мы шли пешком, шёл сильный снег и было очень холодно нести вещи было тяжело, и почти всю еду пришлось выбросить по дороге. Немцы забрали с собой всех евреев. Чехов и всех неевреев отпустили по дороге на все четыре стороны. Сколько немцев нас сопровождало? Не знаю, я видел всё время только одного. Но те, кто останавливался или падал — были застрелены. Я не думаю, что было много фашистов, но они были вооружены и с собаками. Конечно, я мог бы удрать, если бы был один. Но на мне была семья. Отец и брат. Более того, были евреи, которые просто остались в бараках лагеря Буна. Все боялись, что немцы расстреляют тех, кто не построится на плацу и не уйдёт под конвоем в Глайвиц. Но потом, уже после войны, я узнал, что те, кто остался — освободился уже в январе 1945. Я встретил потом несколько таких, освободившихся из Буны. Немцы никого не искали в лагере и просто ушли. Но кто же тогда знал.

В Глайвице мы остались на ночь. На одну ночь.

Утром погнали нас на станцию и стали загонять в вагоны. Я иду в сторону поезда, и иду рядом с отцом. Вдруг он вспомнил что-то, что он забыл и должен что-то забрать и ему надо на минуту вернуться, и он пошёл назад и с тех пор больше я его никогда не видел. С тех пор я не знаю где он, и что случилось с ним.

После того, что я так берёг его всё время, в самом конце войны.

Конечно, мы тогда не знали ещё, что война кончается. Так я оказался в Бухенвальде.

Один. Ни сестры, и я не знаю, где она? Ни младшего брата, и я тоже ничего не знаю. С ним тоже что-то случилось и он куда-то пропал. И я в Бухенвальде один. Бухенвальд — это был лагерь, который Гитлер построил в 1933 году.

Для немцев, неугодных его режиму. как политических, так и всяких убийц и насильников. Они сидели там с 1933 года. Кстати потом эти люди были

начальниками наших лагерей и в Аушвице, и в Биркенау, и в самом Бухенвальде. Они были начальниками складов, например.

Я находился в Бухенвальде до марта — апреля 1945 года, я не помню точно. В Бухенвальде заключённые не работали. Иногда я вызывался разбирать завалы после американских бомбардировок. Недалеко немцы производили ФАУ-2, и американцы сильно бомбили этот район. В соседнем бараке за забором находились заключённые, на которых проводили медицинские эксперименты. Я не очень понимал, что там происходит, но они были толстые и довольные. Мне рассказывали, что там пичкают их лекарствами и уколами. Может быть они получали и пищу лучше нашей, но выглядели они как отдыхающие в доме отдыха. Ещё в лагере Буна я познакомился с одним немцем-австрияком, очень пожилым, начальником склада. Он брал меня, когда надо было убирать склад, и я это делал за него. За это он мне давал хлебные корки. Всё равно он не мог их жевать. Он нашёл меня теперь в Бухенвальде и сказал: «Знай только одну вещь. Я слушаю радио и я знаю, что это дело идёт к концу. Каждый раз, когда ты услышишь приказ по радио евреям собраться на плацу — не ходи. Спрячься. Что за проблема? Перелезь через забор к этим, на которых ставят опыты, и будь с ними, пока ищут евреев. А потом перелезай обратно». И я действительно так и делал. Но немцы увидели, что евреи уже не слушаются приказов (как видно, я был не один такой), и последовал приказ всем евреям, без исключений, построиться на плацу. Я пошёл к этому австрияку и спросил: «А теперь что мне делать?» на что он ответил, что придётся пойти — нет выхода. И я пошёл. Нас всех собрали и повели сначала 7—8 км пешком, а потом погрузили на вагоны и куда-то повезли. Кстати, этот последний поезд вышел из Бухенвальда, когда с другой стороны в него зашли американские войска. Конечно, немцы знали, что война заканчивается, но мы этого не знали. Нас повезли. Но рельсы из-за бомбёжек местами были разбиты, и наш эшелон не мог двигаться. Тогда нас сгружали из поезда, и мы шли пешком. Когда нас сгружали, немцы освобождали всех, кто не еврей. Всех чехов, поляков, голландцев — освободили. Я тоже пытался сойти за чеха, но со мной стали говорить по-чешски, и освободиться у меня не получилось. Нас гнали в Терезинштадт. Немцы построили в Терезинштадте электрический крематорий — самый современный на то время, и уже успели испытать его на русских военнопленных и проверить, как он работает. Все транспорты в апреле 1945 года с заключёнными направлялись туда. «Дорога смерти». Это было их окончательное решение еврейского вопроса.

Но они не успели. Последнюю часть пути (1 — 1,5 дня) мы ехали по железной дороге и нас выгрузили в Терезинштадте. Самый большой парадокс в том, что возле дороги стояли женщины с едой, хлебом и пирогами и кричали нам «идиоты, куда вы идёте, ведь война закончилась, разбегайтесь!», но мы были под конвоем

вооружённых эсэсовцев и смотрели на этих женщин, как на инопланетян. Я думаю, что это было 10 мая 1945 года, хотя многие говорят, что капитуляция была 8-го. Я не знаю — мне кажется, что это было 10-го.

Немцы выгрузили нас из вагонов, загнали в промежуточный лагерь и... исчезли.

Я не знаю, куда. Их заменили люди из «Красного креста».

И началась для нас (как это сказать?) новая война за освобождение. Что с нами будет? Как мы выберемся из этой истории? Никто не знал.

Никто не знал, как и когда мы освободимся? Где искать своих родных? Куда возвращаться? Остался ли кто-нибудь в живых? На все эти вопросы ответов у нас не было.

Между тем, русские не давали никому выходить из лагеря — они боялись эпидемий.

Из лагеря я всё равно сбежал.

И у меня был наказ отца, он сказал нам всем одну вещь: «Мы не знаем, что с нами будет, где мы будем после войны. Но одно запомните. После войны вы возвращаетесь домой, где бы вы ни были».

И я вернулся. Первый кусок дороги, Терезинштадт — Братислава, я помню как сейчас.

Вернувшись в Броди, домой, я пошёл к поляку, у которого мы оставили вещи. Когда я увидел его, разгуливающего в ботинках моего отца, я сразу почувствовал неладное. Это не простые ботинки были, это штиблеты с резиной снизу, без шнурков, в которых ходили хасиды.

В дом он меня к себе не пустил, и я жил в амбаре. Я хотел дождаться кого-нибудь из нашей семьи, кто выжил. Но через пару — тройку дней поляк сказал мне: «Слушай, парень. Я дам тебе несколько злотых, и вали-ка ты отсюда, пока не поздно. Иначе не выйдешь живым, потому как наша польская "Армия Крайова" всех вас добьёт». Он был прав. Так и случилось. А я собрался и уехал в Вежник. Как потом оказалось, сестра моя тоже приезжала искать родных в Броди, но мы с ней разминулись.

В Вежнике я остановился у одного своего друга, Давида. Там было ещё много евреев, в доме. Но мне как-то было не по себе. Вокруг дома ходили какие-то подозрительные люди, и я боялся. Сказал Давиду, что не останусь у него и поеду дальше, в Чехию.

Забегая немного вперёд, расскажу.

Давида я встретил потом в Италии, и он мне рассказал, чем всё кончилось. В ту же ночь, когда я уехал, люди польской Армии Крайовы ворвалась в дом и

устроили там резню. Погибли все, самому Давиду чудом удалось спастись, выпрыгнув из чердачного окна.

Парадокс в том, что там была одна семья, глава которой был задушен вместе с другими в специально закрытом немцами вагоне по дороге из лагеря Маевке в Биркенау, помнишь? Ему тогда удалось спасти свою жену и двух детей. Так они вместе со всеми были зарезаны польской Армией Крайовой в этом доме, уже после войны, в 45-м, в Вежнике.

Давал ли я свидетельские показания в судах над нацистами? Да. В двух. Суды были где-то в 50-х годах, не помню точно. Я хотел рассказать правду. Но оказывается, это не совсем так, как я думал. Если бы меня пригласили свидетельствовать в суде ещё, я бы не поехал. Это была пытка. Первый, кажется, году в 1957. Судили немца, который руководил эвакуацией евреев из Вежник в лагерь Штельнице, в 1939 году.

Сначала я получил повестку из полиции Израиля, там было такое отделение (не знаю, есть ли оно по сей день), которое занималось нацистскими преступниками. Я пошёл в полицию на беседу. Потом, через какое-то время, я дал показания какому-то немецкому следователю ещё у нас, в Израиле. А потом меня пригласили поехать в Германию и дать свидетельские показания на суде.

Этот первый для меня суд был в Гамбурге. Немцы нам с женой купили билеты (я не хотел ехать один), оплатили недельный отпуск и даже оплатили недельные расходы на няню для нашего сына, пока нас не будет дома; нам была заказана хорошая гостиница. Для меня поездка туда ещё была поводом встретиться с друзьями, которые тоже были приглашены из разных стран — из Америки, Англии. Министерством просвещения Германии была также предусмотрены встречи со школьниками Гамбурга.

Мои свидетельские показания начались с того, что судья спросил меня, на каком языке я хочу говорить. И, хотя я знаю немецкий, я предпочёл говорить на иврите, чтобы быть точнее и не пропустить что-либо. Мне предоставили переводчика. Я надел кипу на голову и начал говорить. Я говорил полтора дня. Приговора суда я не знаю, после меня было ещё много свидетелей. Я не смог оставаться там до окончания суда, мы вернулись домой. Почему? Знаешь, у меня не было точных ответов на вопросы судей. Мне давали карту Вежника и просили, чтобы я показал, по какой точно улице евреи шли на рыночную площадь? И по какой улице нас потом гнали в лагерь? Сколько людей и, в частности, детей, погибло во время этой «акции»? Я мог сказать то, что видел своими глазами. Да, я видел ребёнка, сына

раби Гутмана (который учил меня в еврейской школе), которому эсэсовец разможил голову об стену. Но был ли он один там такой или были ещё?!

Я не смог ответить на этот вопрос.

Ещё я попросил отсадить подальше от меня этого подсудимого нациста, сначала он сидел рядом со мной. Было тяжело видеть его, как он сначала пишет что-то, а потом и вовсе дремлет в кресле. А самое страшное было вечером, после суда. Внизу, на первом этаже, была касса, и все приглашённые на этот процесс могли получить причитающиеся им деньги за этот рабочий день. Я пошёл туда тоже, и кого же я вижу там? Туда пришёл и сам подсудимый — толстый, румяный, довольный собой, и совсем ничем не удручённый. Он тоже пришёл получить свои деньги. Он пришёл как и я, и так же ушел. И получил положенные ему деньги за проведённый в суде рабочий день. Я не смог этого вынести, мы с женой уехали до вынесения приговора. Хозяин гостиницы не мог понять, в чём дело, и почему мы выезжаем раньше срока. Что-нибудь не в порядке? Он не понял. Я не знаю приговора, но потом мне рассказывали, что никакого серьёзного наказания за свои преступления этот подсудимый нацист так и не получил.

Второй суд состоялся во Франкфурте.

Он прошёл для меня ещё тяжелее, чем первый. Судили нациста, отправившего в печи целый барак цыган в лагере Биркенау в 44-м году. Судьи спросили меня, какое количество грузовиков увозило цыган в печи и сколько рейсов они сделали? Я не знаю ответа на этот вопрос. Когда я смотрел на происходящее через дверную щель барака, я не подсчитывал ни количество грузовиков, ни рейсы каждого из них. Моя жена Бела обратилась к главному судье и сказала: «Господин судья, мне кажется, что сейчас мой муж сидит на скамье подсудимых». На что судья ответил так: «Госпожа, мы скоро заканчиваем, и больше не будем беспокоить вас такими вопросами».

И это судилище тоже закончилось ничем.

Нам сказали, что в Германии нужны такие процессы в основном для молодёжи, что есть «общественный резонанс», что происходящее обсуждается в местных газетах...

Сказали, что это хорошо для молодёжи — такие суды.

Кстати тот, первый нацист, из первого суда, который руководил эвакуацией в гетто, — он ведь в 50-х годах служил в немецкой полиции, офицер. Его случайно опознал кто-то.

По мне, так этого мерзавца, который отправлял цыган в печи надо было бы самого сжечь, или, как минимум, расстрелять. Но никакого серьезного наказания не понёс и он.

В общем, суды были формальные.

Короче, после двух свидетельств на судах, мы оставили Германию. Моя жена вообще не может видеть немцев.

(Цви встретил её в г. Пльзень в 1945 году. Ей было 16 лет, она потеряла в лагерях смерти всю семью. Она выглядела как 12-ти летняя девочка тогда, в свои 16. С тех пор они не расстаются. S. G.)

У полицейских осталась та же форма — тот же цвет, всё то же самое. Когда в аэропортах просят показать документы, она не может слышать эти слова.

Я хочу ещё съездить в Бухенвальд. А в Польшу, в Аушвиц, я не могу. Без помощи поляков немцы не смогли бы сделать то, что они задумали сделать с евреями. Все лагеря смерти были расположены на территории Польши. Ни в какой другой стране этого бы не могло произойти.